

— 1968 год часто мифологизируют — особенно бывшие коммунистические функционеры. Вы из тех, кто избежал этого соблазна. Каким вы помните 1968 год и как он вам видится сегодня, спустя почти двадцать лет?

— 1968 год я считаю логическим итогом и кульминацией всего предшествовавшего процесса «самоосознания и самоосвобождения общества», как я это называю. Процесс не сводился к столкновению двух политических группировок, в котором на время одержала верх более либеральная. Разнообразие по форме и все более мощное влияние нового сознания должно было рано или поздно сказаться и в политической сфере: пропасть между жизнью и системой была чем дальше, тем глубже. Однако после январских перемен мне казалось, что это лишь смена караула в верхнем эшелоне, которая мало что значит. Тем поразительнее была стремительность последовавших событий.

Впрочем, поражены были все, в том числе и само политическое руководство. Ведь эти перемены не являлись результатом какой-либо четкой политической программы или единой воли, а были вызваны скопившимся в обществе напряжением, которое вырвалось из-под прессы.

Неверно, что я совсем не поддался всеобщей эйфории. Думаю, что радость и упоение тогда охватили каждого. Ведь внезапно стало легко дышать, люди смогли свободно объединяться, исчезал страх, были сняты всевозможные табу, социальные противоречия открыто назывались своими именами, получали развитие самые разные интересы, средства массовой информации вновь начали выполнять свою истинную миссию, на глазах росло гражданское самосознание — короче говоря, льды таяли, и окна открывались, и трудно было оставаться в стороне и не испытывать восторга.

Правда, к радости у меня примешивались все более мучительные сомнения, но и это не было лишь моей индивидуальной особенностью, а явлением, достаточно распространенным. Откуда взялись сомнения? В моем случае — в первую очередь из осознания того, что руководство страны растерялось, очутившись лицом к лицу с новыми процессами. Оно вдруг стало пользоваться всеобщей поддержкой и симпатией, с чем эти люди, привыкшие исключительно к поддержке, организованной сверху, раньше не сталкивались.

Разумеется, они были приятно удивлены и даже воодушевлены, но, с другой стороны, их, в сущности, пугал этот стихийный поток народного волеизъявления, он снова и снова ставил их в тупик. Происходящие события и выдвигаемые требования были зачатую непостижимы для них и приводили их в трепет невиданным расширением границ «возможного» и «допустимого»... Они находились в довольно абсурдном положении: приветствовали народный подъем — и испугались его, опирались на него — и не понимали его сути, благословляли — и пытались тормозить его. Они хотели проветрить, но боялись свежего воздуха, желали реформ, но только в пределах своих представлений...

Ситуация была опасна тем, что руководство, не имея вполне ясного взгляда на такой ход вещей, столь же неясно видело и пути его защиты. Эти люди тешили себя иллюзиями, что сумеют как-нибудь келейно объяснить все Советскому Союзу, что успокоят его обещаниями не ослаблять поводы — и в Советском Союзе должны будут понять и дать добро. Противоречия с СССР они обходили молчанием, к предостерегающим же голосам не прислушивались, тщетно надеясь, что сохраняют «допустимое», устрояя «недопустимое», так называемые «крайности», к обоюдному удовольствию народа и Кремля. Спешно подготовленная новая программа партии эти противоречия отображала, по существу, объединяя несовместимое, что не

могло удовлетворить ни чехословацкую общественность, ни Кремль.

Это все острее ощущалось в тогдашней атмосфере, поэтому сомнения и опасения усиливались и нагнетались. Причины для опасений хватало: от нерешенной проблемы беспартийного большинства (принцип руководящей роли партии обсуждению не подлежал, и политический плюрализм был все еще выше понимания руководства) до непоколебимой гвардии сталинистов в органах безопасности и в аппарате власти. Народ мог осознавать опасность военного вмешательства в большей или меньшей степени (хотя скорее все же не сдвигом), но в любом случае люди ощущали, что так легко, как это казалось руководству, решить спор с Кремлем не удастся. Общество питало куда меньшие иллюзии, чем власти...

— Встречались ли вы лично в то время с ведущими политиками?

— Однажды, в начале июля, вернувшись из какой-то своей зарубежной поездки, я нашел у себя на столе приглашение от премьер-министра Черника на встречу высших политических деятелей с писателями. Разумеется, я туда отправился — хотя бы из любопытства. Это был приятно проведенный вечер, затнувшийся до глубокой ночи, где нас угощали всякими вкусными вещами. Из политиков присутствовали Дубчек, Черник, Смирковский, Гаек, министр культуры Галушка — и Гусак (он держался незаметно и в основном молчал; если бы я знал тогда, какую он сделает карьеру, то, конечно, больше к нему присматривался бы). Из писателей были Гольдштокер, Прохазка, Когоут, Вацулик, Шкворецкий, я и, возможно, кто-то еще.

Я очень живо все помню: ведь это была моя единственная неформальная встреча с находящимися у власти политическими деятелями (с потерявшими власть я потом встречался часто). Сначала я стеснялся, пришлось придать себе смелости коньяком — и тогда я вступил в долгие дебаты с Дубчек. Кажется, я энергично толковал ему о всякой всячине и самоуверенно давал советы, как следует поступать, чтобы воспрепятствовать советской интервенции, и как отсечь от власти людей вроде Индры... Я советовал расширять демократию, не чинить препон бывшим политическим заключенным, объединившимся в клуб «К-231», отказать от иллюзий в отношении Кремля и т. д. и т. п.

Короче говоря, под воздействием коньяка я, наверное, держал себя достаточно нахально, наговорил кучу глупостей — и я никогда не забуду того, что Дубчек тем не менее внимательно меня слушал и даже задавал вопросы. Правда, моими советами он потом не воспользовался, но совершенно пленил меня тем, что вообще вел со мной этот разговор. Не так это обычно для политиков, которые чаще лишь твердят свое и никого не слушают.

— Как вы оцениваете бурный период конца 1968 — начала 1969 года? Чем вы занимались в то время?

Если до августа я был достаточно далек от общественной жизни, то потом вихрь событий просто-таки втянул меня в нее. Это был совершенно особый, надрывный момент. Руководство государства делало уступку за уступкой в надежде сохранить хотя бы что-то, а на деле оно лишь само под собой рубило сук. Медленно, но неуклонно реставрировались прежние порядки; при этом, однако, все еще можно было свободно высказываться и писать. Такой парадокс и сообщал тогдашней атмосфере некий надрыв. Говорились откровенные и жесткие слова — но это могли быть лишь слова о собственном бессилии; звучали протесты — но в принципе только против того, что все протесты остаются без внимания.

Это было время массовых студенческих забастовок, бесконечных собраний, петиций, демонстраций, бурных дебатов. Корабль постепенно шел ко дну, но пассажирам было разрешено кричать, что они тонут. Самоожжение Яна Палаха, которое в дру-

В АЦЛАВ ГАВЕЛ становится в сегодняшней Чехословакии одним из самых популярных деятелей общественного движения, всколыхнувшего страну после событий 17 ноября. Интервью с ним как с лидером этого движения, организации «Гражданский форум», две недели назад было напечатано в «ЛГ».

Выпускник Академии музыкальных искусств, Вацлав Гавел дебютировал в бурные 60-е годы как драматург, пишущий в жанре «театра абсурда». Когда же после 1968 года абсурд воцарился в жизни, он протестует — и, внутренне далекий от политики, вступает вы-

Вацлав ГАВЕЛ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Из книги «Заочный допрос»



Вацлав Гавел и Александр Дубчек (в центре)

гое время казалось бы непостижимым, мгновенно было понято всем обществом: оно вышло крайним символическим выражением «духа эпохи»; всем было знакомо отчаянное желание пойти на какой-либо безумный шаг, если все остальное не возымело действия.

Я тогда во всем этом участвовал, потому что не мог не участвовать. Я выступал на факультетах и на заводах, митинговал, составлял многочисленные воззвания. Я подчеркивал, что каждая уступка ведет к новой уступке, что нельзя сдавать позиции, так как за спиной — пропасть, что необходимо выполнять обещания и добиваться выполнения обещанного, я боролся, по своей старой привычке, против всевозможных иллюзий и всяческого самообмана...

— Как бы вы охарактеризовали ситуацию в Чехословакии в 70-е годы? И как складывалась ваша жизнь с 1970 года до вашего третьего ареста в 1979 году?

— Джон Леннон в одном интервью сказал, что семидесятые годы ни черта не стоили. И впрямь, если оглянуться на них из сегодняшнего дня, то в мировом масштабе в сравнении с многообразными, богатыми, плодотворными шестидесятыми они покажутся ничтожными, лишенными стиля и атмосферы, сколько-нибудь глубоких духовных и культурных сдвигов, яркими, скучными и безотрадными. Для меня эти годы символизируют, с одной стороны, фигура Брежнев с его затхлым «владечеством», а с другой — двусмысленная фигура президента Никсона с его абсурдной вьетнамской войной, закончившейся столь бесславно, и абсурдной же утергейтской аферой.

нужденно на ее стезю, организуя с группой «инакомыслящих единомышленников» движение «Хартия-77», а затем и «Комитет защиты противоправно преследуемых». Это завершили сообразно законам жанра три ареста и четырехлетнее заключение — с досрочным, благодаря требованиям международной общественности, освобождением в 1983 г. Анахронизмом было повторение ситуации после январских волнений 1989 г., причем теперь голоса защиты звучали также из СССР (в стороне не осталась и «ЛГ»).

Мы публикуем сегодня отрывки из книги бесед с Вацлавом Гавелом журналиста, эмигранта 70-х годов К. Гвижжы.

друг друга и объединились. Наша ситуация самой своей сущностью обусловила необходимость гораздо более широкой и открытой общности — и мы сошлись на «гражданской инициативе». С самого начала было ясно — это была причина проведенных подготовительных встреч, а не их итог. — что должно быть создано нечто постоянное; мы собирались не для того, чтобы написать единовременный «манифест». И с самого начала всем было ясно: то, что возникнет, будет иметь плюралистический характер, все будут равны, никакая группировка, хотя бы даже очень многочисленная, не будет играть «руководящую роль» и навязывать остальным свой индивидуальный «почерк».

На первой встрече очертания того, что мы все готовили, еще не были ясны. Мы договорились только, что до следующей встречи будет написан проект какого-либо обращения, которым мы заявим о себе... Так возник наш первый документ; кто его писал и кто какие фразы добавлял или исключал оттуда, я хотя и знаю, но не считаю возможным сообщать из принципиальных соображений. Обращение «Хартии-77» выражало коллективную волю, за него несет ответственность каждый из подписавшихся под ним, и этот принцип, по традиции, подчеркивается умолчанием об авторстве...

— Усматриваете ли вы в чем-либо крупную надежду в 80-е годы?

— Предоставляю более посвященным судить о том, чего можно ждать от Горбачева и вообще «сверху», то есть от происходящего в правящих кругах. Я никогда не ставил «верхи» на первое место, меня всегда интересовало скорее то, что делается «внизу» и чего можно ожидать от «низов»... И, непредвзято наблюдая за событиями «внизу», должен сказать, что обнаруживаю здесь пусть пока медленное и незаметное, но несомненное, сулящее надежду движение.

После семнадцати лет кажущейся мертвой неподвижности ситуация сейчас отличается от исходной... Люди воспряли, выпрямились и снова начали интересоваться делами, от которых раньше так резко скрывались в себе, опять словно выросли островки самоосознания и самоосвобождения, восстанавливаются отношения между людьми, которые были оборваны так безжалостно... Что-то происходит в общественном сознании, хотя больше в глубинных слоях, чем на поверхности. И все это скрытым образом оказывает давление на государственную власть...

— Что бы вы ответили тем, кто упрекает вас за то, что ваши пьесы, особенно последние, сплошь пессимистичны, безысходны, не содержат ни крупинки надежды? Признаете ли вы, что ваши пьесы отчасти противоречат вашей гражданской и жизненной позиции?

— Я бы ответил, что задача театра, как я ее понимаю, состоит не в том, чтобы облегчать людям жизнь, изображая положительных героев, на которых зритель может возложить все свои надежды и покинуть театр с беззаботным ощущением, что эти герои что-то за него сделают. По мне, это была бы медвежья услуга: истинную и главную свою надежду каждый обязан отыскать в самом себе, тут нельзя полагаться на кого-то другого. Я не стремлюсь успокоить зрителя милосердной ложью и лицемерно подбодрить предложением решить все за него. Право, этим я едва ли помог бы людям.

Моя цель иная: погрузить зрителя как можно более сурово в самую глубинную проблему, от которой он не должен, да и не может уклоняться, ткнуть его носом в его, мою, нашу общую нужду. И напомнить ему тем самым, что пора что-то делать. Единственное решение, единственный выход и единственная надежда, которые имеют смысл, — это те, что мы находим сами, сами в себе и сами за себя.

Перевела с чешского

Инна БЕЗРУКОВА

БОНН — ПРАГА, 1986